
ИТАЛЬЯНСКИЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ТРИЛЛЕР НУАР
НАСЛЕДИЕ
ЛЖЕЦА
АНАСТАСИЯ ДАВЛЕТШИНА

Анастасия Давлетшина

Наследие лжеца - Итальянский психологический триллер нуар

https://litres.ru/74815748
SelfPub; 2026

Аннотация

После смерти возлюбленного Мара Ферретти получает наследство необъяснимого происхождения. Сотрудничая с полицией, она раскрывает пять мошеннических схем и узнаёт о шести пострадавших. Каждая находка разрушает образ Лоренцо — мужчины, которого, как ей казалось, она знала. Но мучительный вопрос обращён к самой себе: как жить с тем, что ты ничего не замечала?

«Наследство лжеца» — психологический нуар о двойной утрате: человека и представления о нём. На фоне римских улиц, галерей и мира искусства Мара учится различать подлинное и искусно созданную видимость — в картинах, воспоминаниях и своей любви.

Это история о праве любить и одновременно осуждать, понимать чужие мотивы, не оправдывая причинённого зла, пережить предательство и не позволить ему определить свою жизнь. Здесь нет утешительной простоты и безупречной

невиновности. Есть сложные люди, неудобная правда и возможность пройти через крушение доверия, сохранив себя.

Анастасия Давлетшина Наследие лжеца - Итальянский психологический триллер нуар

Наследие лжеца

Анастасия Давлетшина
Италия, 2026 • Психологический нуар

Содержание
Глава 1. Звонок 2
Глава 2. Комната для допросов 11
Глава 3. Похороны, которых не было 22
Глава 4. Наследство 31
Глава 5. Елена 43
Глава 6. Решение 57
Глава 7. Внутри документов 70
Глава 8. Фонтана 81
Глава 9. Вентури вмешивается 93

Глава 10. Реа 105
Глава 11. Седьмое имя 117
Глава 12. Карла Бенедетти 130
Глава 13. Ночь с Джулией 143
Глава 14. Моретти 154
Глава 15. Галерея 168
Глава 16. Кто ненавидит сильнее 183
Глава 17. Серджо 196
Глава 18. Виттория Ланца сдаётся 209
Глава 19. Узел 226
Глава 20. Опасность 242
Глава 21. Rivalta Gestioni 256
Глава 22. Смех Лоренцо 269
Глава 23. Цена правды 285
Глава 24. То, что было по-настоящему важным 298

1

Глава 1. Звонок

За годы в своей профессии я усвоила одно: каждое произведение искусства хранит две истории. Ту, что художник хотел рассказать, и ту, что холст решил оставить при себе. Величайшие трагедии арт-рынка — подделки, кражи, ложные атрибуции — всегда рождаются из неспособности отличить одну от другой. Смотришь на картину и видишь лишь

то, что хочешь увидеть. Не замечаешь того, что поверхность говорит между мазками, на полях, в том, как краска стареет чуть иначе, чем должна была бы.

Десять лет я тренировала свои глаза не обманываться.

С Лоренцо я глаза не использовала.

* * *

В то утро я открыла галерею на сорок две минуты раньше обычного. Знаю точно — посмотрела на часы при входе. Такая привычка: фиксирую время про себя, как другие записывают расходы. Жалюзи с лязгом поползли вверх, ноябрьский свет лёг косыми полосами сквозь витринные стёкла, запахло воском и деревом — запах всего, что я построила. Трастевере в такой час ещё хранит что-то древнее: влажная брусчатка, коты на подоконниках, торговцы, молча расставляющие товар, — точно служители какого-то вековечного ритуала.

Мне нужно было повесить Фонтану. Работа на бумаге шестидесятых годов — приобрела её неделю назад у болонского коллекционера, которому срочно понадобились деньги. Обычная история: состояние тихо рассыпается, а снаружи всё ещё выглядит нетронутым. Место для работы я уже выбрала мысленно: дальняя стена, зенитное освещение, достаточно пространства вокруг, чтобы разрез мог дышать. Фонтана требует простора вокруг раны. Сожмёшь — и всё пропадает.

Вот о чём я думала, когда зазвонил телефон.

Незнакомый номер. Ответила как всегда — «Ферретти»

— тем самым деловым голосом, над которым посмеивался Лоренцо. Он говорил, что по телефону я становлюсь другим человеком. Холоднее. Сантиметров на пять выше. Говорил, что никак не может понять, какая из двух настоящая.

Я так и не ответила ему.

«Ферретти Мара?»

Мужской голос. Зрелый, без интонаций. Голос человека, давно отказавшегося от вежливости как стратегии и использующего её теперь как инструмент точности: обращается с тобой хорошо не для того, чтобы ты расслабилась, а чтобы держать разговор в своих руках.

«Да, это я.»

«Инспектор Марко Вентури, Государственная полиция Рима. Мне нужно встретиться с вами как можно скорее. Речь идёт о Лоренцо Каттанео.»

То, что я почувствовала в тот момент, ещё не было страхом. Это было нечто более древнее и более странное — узнавание. Как когда на ярмарке вдруг видишь работу, которой никак не ожидал здесь встретить, и мозг целую секунду не может поверить тому, что глаза уже поняли.

Что-то случилось с Лоренцо. Моё тело знало это прежде, чем знала я.

«Что произошло?»

«Лучше поговорить лично. Сейчас пришлю адрес.»

Он повесил трубку. Я ещё несколько секунд держала телефон в руке, глядя, как экран гаснет, потом перевела взгляд

на Фонтану, прислонённого к стене. Разрез в бумаге — вертикальный, чёткий, бесповоротный — смотрел на меня в ответ.

Я взяла пальто и вышла, так ничего и не повесив.

* * *

До полицейского управления шла пешком. Добрых тридцать минут — с распахнутым пальто, потому что накинула его второпях и не заметила. Ноябрьский Рим умеет быть жестоким по-тихому: не северный холод, который хотя бы честен, а сырость, поднимающаяся от Тибра и оседающая в костях без спроса. Прошла через пустынное Кампо-де-Фьори, потом Ларго-деи-Фьорентини, потом узкими переулками к набережной — и всю дорогу занималась одним: пыталась придумать наименее страшный сценарий.

Несчастный случай. Госпитализация. Может, что-то бюрократическое — у Лоренцо были интересы повсюду, инвестиции, компании. Может, нужна просто подпись, свидетельские показания, что-то практическое и решаемое.

Но голос инспектора Вентури не был голосом человека, которому нужна подпись.

Я повторяла себе это тридцать минут. Не помогло.

Вентури оказался не таким, каким я его себе представляла. Это я понимаю теперь, когда успела узнать его ближе, — но и тогда, в той первой комнате, у меня возникло ощущение, что передо мной человек куда сложнее той роли, которую сейчас исполняет. Лет пятидесяти, виски с сединой, пи-

джак синего цвета, который перестал быть новым как минимум три сезона назад, но ещё держал форму. Светлые глаза — неопределённого цвета, как февральское небо в пасмурный день. Глаза человека, смотрящего на людей так, как я смотрю на картины: в поисках того, что туда не вкладывали намеренно.

Он жестом предложил мне сесть, предложил кофе — я отказалась. Потом сел напротив и сказал без предисловий:

«Лоренцо Каттанео был обнаружен этим утром в своей квартире. Он мёртв.»

Четыре слова. Он мёртв.

В тот момент я поняла кое-что о языке горя: оно не приходит всё сразу. Оно приходит слоями — как вода, проникающая в стену: медленно, незаметно, пока стена не рухнет сама, изнутри, в том месте, которое казалось самым прочным.

Та часть меня, которая уже знала — почувствовала голос Вентури и что-то в нём распознала — не отреагировала. Та часть, что всё ещё ждала наименее страшного сценария, перестала ждать.

Остальное было тишиной.

«Как?» — спросила я. Голос звучал нормально. Я не понимала, как он мог звучать нормально.

«Падение с лестницы. Мы ещё устанавливаем точные обстоятельства.»

Устанавливаем точные обстоятельства. За десять лет продаж коллекционерам, задающим вопросы, не желая пря-

мых ответов, я научилась переводить с эвфемизмов. Это значило: мы пока не знаем, был ли это несчастный случай. Это значило: возможно, кто-то помог ему упасть. Это значило: именно поэтому ты здесь, Мара Ферретти, сидишь на этом стуле с распахнутым пальто и руками на коленях.

«Понимаю», — сказала я.

Я не понимала ничего.

* * *

Вопросы были простыми — где я была прошлым вечером, когда видела Лоренцо в последний раз, как бы я описала наши отношения. Я отвечала на всё. Была дома, одна, что-то готовила, читала. Видела его четыре дня назад — поужинали в месте, которое мы любили, в Трастевере. Всё было хорошо. Никакого напряжения. Ничего необычного.

Пока я говорила, наблюдала, как Вентури делает пометки перьевой ручкой — деталь, почему-то меня задевшая. Наверное, потому что перьевая ручка предполагает намеренность: ею не пишут наспех, каждое слово выбираешь прежде, чем опустить перо на бумагу. Или потому что Лоренцо всё делал через телефон — и каждый аналоговый предмет в той комнате напоминал, насколько далеко отстояли друг от друга два мира.

Потом Вентури отложил ручку и сделал то, чего я не ожидала: положил на стол два листа бумаги — один за другим, с медлительностью человека, который знает, что сейчас изменит что-то безвозвратно.

Первый был нотариальным документом. Вверху — название конторы: нотариус Ланца Виттория. Ниже, без всякой возможности ошибиться, — моё имя. Мара Ферретти. Основная наследница имущества Лоренцо Каттанео.

Я перечитала. Перечитала ещё раз. Искала ошибку, однофамильца, какое-нибудь техническое объяснение, которое позволило бы не принимать написанное.

«Я ничего об этом не знала», — сказала я.

«Знаю», — ответил Вентури.

Откуда он мог знать? Я посмотрела на него. Он не пошевелился.

Второй лист был скриншотом переписки. Незнакомый номер. Короткие фразы — такие пишут, когда уверен, что больше никто никогда не прочтёт. В конце каждого сообщения — подпись: Е.

Я смотрела на эти буквы — не знаю сколько. Читала — в том смысле, что слова я поняла с первой строчки, — но смотрела на них как смотрят на работу, которую никак не удаётся атрибутировать: ищешь подпись, ищешь период, ищешь хоть какую-нибудь точку опоры, которая подскажет, откуда оно взялось и что здесь делает.

У Лоренцо была другая женщина.

Лоренцо был мёртв.

Лоренцо оставил мне всё своё имущество.

Три факта. Ни один не сочетался с двумя другими — и всё же они лежали на столе, под флуоресцентным светом по-

лицейского кабинета, и никто из них не собирался никуда уходить.

«Вы знаете эту женщину?» — спросил Вентури.

«Нет.»

«Можете сказать, почему Каттанео сделал вас наследницей?»

«Нет.»

«Вам что-нибудь известно о женщине, чьё имя начинается на Е?»

Я ещё раз опустила взгляд на листок. Е. Одна буква. Сколько места она занимала, сколько жизни прошло через неё, — а я даже не знала её имени целиком.

«Нет», — сказала я. — «Я ничего не знаю.»

Это была правда. И это было самое унизительное, что я когда-либо произносила вслух.

* * *

Выйдя из управления, я увидела, что небо стало белым. Тот ноябрьский свет, которым Рим никак не может определиться: не тучи, не просвет — что-то среднее, задержанный вздох мира.

Я пошла.

Без цели — вернее, цель была: галерея, — но галерея казалась принадлежащей другому времени, утру до, той мне, у которой в голове была только развеска Фонтаны и которая понятия не имела, что к полудню будет сидеть в полиции и трижды подряд говорить «я ничего не знаю».

В какой-то момент я поймала себя на том, что смотрю в витрины. Не с желанием что-то купить, не чтобы отвлечься — я смотрела на отражения. Своё распахнутое пальто, своё лицо, которое никак не удавалось полностью опознать, улицу за спиной, текущую как ни в чём не бывало.

Десять лет я работала арт-дилером. Умела читать поверхности, обратные стороны холстов, трещины в краске, следы времени, осевшие в углах, куда никто не смотрит. Умела находить ложь в вещах.

Я не заметила ничего.

Ни единой трещины. Ни одного выбившегося края. Ни одного мазка, который не сходился бы.

Три года Лоренцо смотрел на меня каждый день, я смотрела в ответ — и не увидела ничего.

Галерея была открыта, когда я добралась до неё: дверь поскрипывала на ветру, замок проворачивался вхолостую. Никто не вошёл. Фонтана по-прежнему стоял у стены, где я его оставила, — вертикальный разрез в бумаге, чёткий и окончательный, как приговор.

Я села на пол.

Не плакала. Слёзы требуют ясности — нужно точно знать, что потерял. А я не знала. Не знала, кем был Лоренцо — настоящий, не тот, которого я любила. Не знала, что скрывало в себе это наследство, которого я не просила. Не знала, сколько ещё букв алфавита мне предстоит узнать.

Я знала только одно: человек мёртв. Этот человек, воз-

можно, никогда не существовал так, как я думала. И кто-то в комнате с флуоресцентным светом и перьевой ручкой на столе уже начинает думать, что убила его я.

Я смотрела на Фонтану.

Рана в бумаге смотрела на меня в ответ.

Я подумала: он тоже резал, думая, что создаёт. А оставил только дыру.

2

Глава 2. Комната для допросов

О кризисных моментах никогда не говорят одной вещи: насколько они телесны.

Я не о слезах и дрожи — это следствия, не суть. Я о том, что происходит раньше, в тот точный миг, когда реальность даёт трещину и тело — оно честнее разума — понимает это первым. У меня всегда отзывается желудок. Не боль — что-то точнее: как тяжёлый предмет, положенный на орган, не предназначенный нести тяжесть. В то утро, сидя на пластиковом стуле в коридоре управления в ожидании Вентури, этот самый предмет занял место прямо под грудиной и больше не двигался.

Я дышала. Смотрела на плитку пола — белую, с серыми прожилками, такой пол, который никто не выбирает, он просто существует, потому что кому-то надо было что-то положить под ноги. Считала трещины. Три. Четвёртая начина-

лась в левом углу и уходила под плинтус.

Лоренцо был мёртв.

Лоренцо был мёртв, а я считала трещины в полу полицейского управления вместо того, чтобы плакать, — и никак не могла понять, признак ли это силы или чего-то, что сломалось во мне ещё до того, как пришла новость.

* * *

Вентури явился с опозданием на пятнадцать минут.

Не извинился. Я оценила это — извинения в определённом контексте служат инструментом контроля, и я предпочитала, чтобы наши отношения начались без притворства. Он просто сказал: «Ферретти, идёмте» — и я пошла следом через коридор, пропитанный запахом горелого кофе и типографской краски, в комнату, не имевшую ничего общего с полицейскими интерьерами из кино.

Никакого зеркала одностороннего видения. Никакой слепящей лампы. Только стол, два стула и окно, выходящее во двор, где кто-то бросил горшок с давно засохшими геранями. Странно, но герани оставались красными — выцветший, сморщенный красный, который словно никак не мог решиться умереть окончательно.

Я смотрела на них чуть дольше, чем нужно. Это тоже, подумала я, своего рода выживание.

«Присаживайтесь.» Вентури указал на стул напротив, достал блокнот, снял колпачок с перьевой ручки точным, отработанным жестом — жестом человека, проделавшего это

тысячи раз и давно переставшего думать об этом. Потом посмотрел на меня.

Не тот взгляд, что ждёт ответа. Тот, что собирает информацию.

Я ответила тем же. Иначе оставалось только опустить глаза — а это значило отдать ему что-то, чего он не просил.

* * *

По моим наблюдениям, люди делятся на два типа: те, кто покупает искусство, чтобы владеть им, и те, кто покупает, чтобы понять. Первым нужны сертификат, подпись, имя, которое производит впечатление на гостей. Вторые садятся перед работой, молчат и ждут, пока она что-нибудь скажет. Вентури принадлежал ко второму типу — не в отношении искусства, конечно, а в отношении людей. Он садился и ждал. Давал тишине делать грязную работу.

Приём работает. Знаю, потому что сама им пользуюсь.

— Когда вы видели Каттанео в последний раз? — спросил он наконец, держа перо наготове.

— Четыре дня назад. Ужинали вместе.

— Где?

— «Сеттимио аль Аранчо». Улица Аранчо, исторический центр. Мы часто — мы часто туда ходили.

Я почувствовала, как время глагола меняется у меня во рту. *Ходили.* Прошедшее. Потеря по-настоящему доходит до тебя не тогда, когда приходит известие — а когда обновляется грамматика.

Вентури что-то записал без комментариев.

— Как бы вы описали ваши отношения?

— Серьёзные. Три года. В браке не состояли.

— Были планы пожениться?

— Мы не говорили об этом прямо. — Пауза. — Но я думала, что да.

Не знаю, зачем добавила это. Не было необходимости. Но это было правдой, а в той комнате правда обладала чем-то вроде силы притяжения — может, как контраст со всем остальным, может, потому что Вентури ждал её, как ждут дождя после долгой духоты.

Он снова писал. Потом поднял взгляд.

— Ссоры в последнее время? Напряжённость?

— Нет.

— Совсем ничего?

Тон нейтральный. Вопрос — нет.

— Ничего, что стоило бы запоминать, — сказала я. — Как в любых отношениях.

Он кивнул, как будто это был ожидаемый ответ — а значит, скорее всего, именно это все и отвечают, и потому это почти ничего не говорит.

* * *

Потом он выложил на стол листы.

Один за другим, с той намеренной медлительностью, которую я уже успела заметить. Как галерист, открывающий работу: даёт глазу время воспринять прежде, чем разум нач-

нёт интерпретировать.

Завещание я прочитала трижды. В третий раз — в поисках пункта, условия, хоть чего-нибудь, что объяснило бы, почему Лоренцо мог сделать такое, не сказав мне. Не нашла ничего. Моё имя стояло там — ясно и окончательно, перед ним — стандартная формулировка, после — перечень имущества, который я просмотрела бегло: недвижимость, доли в компаниях, счета, итоговая сумма, которую мой мозг предпочёл не обрабатывать до конца.

— Я ничего об этом не знала, — сказала я.

— Знаю.

— Откуда?

Короткая пауза. — Потому что вы вот так посмотрели.

Не знаю, как я посмотрела. Знать не хочу.

Второй лист уже лежал там, когда я оторвала взгляд от завещания. Вентури его не трогал — он оставался у края стола, как будто ждал, и мне понадобилась секунда, чтобы понять, что именно я вижу.

Скриншот. Переписка. Незнакомый номер.

Я читала.

Не надо было делать это так — надо было замедлиться, подготовиться, выстроить хоть какое-то расстояние между собой и этими словами. Но к измене нельзя подготовиться, когда она обрушивается на тебя печатными буквами на листе А4 в полицейской комнате — и инспектор по ту сторону стола смотрит на тебя, как энтомолог смотрит на приколотое

насекомое.

Слова были обычными. В этом и есть самый чудовищный аспект измены: слова, которые кто-то пишет другой женщине, — те же самые обыкновенные слова повседневной жизни. Никакого тайного языка, никакого шифра. Лоренцо писал этой женщине точно так же, как мог бы писать мне. Может быть, мне он писал точно так же, как писал ей.

В конце каждого сообщения: Е.

Одна буква.

Я пересчитала сообщения — не желая того, просто не могла не измерить. Двадцать два сообщения за четыре недели. Четыре недели, которые совпадали с нашими последними четырьмя неделями. Суббота, 3 ноября — день, когда мы с Лоренцо провели послеобеденное время на рынке Порта Портезе: в тот день в 16:47 он написал Е., что скучает по ней. *Скучает по ней.* Пока был со мной, пока смеялся над чем-то, чего я уже не помню, пока был рядом, живой, мой — скучал по ней.

Я положила лист на стол.

Руки были неподвижны. Вот это напугало меня больше всего остального.

* * *

— Вы знаете эту женщину? — спросил Вентури.

Его голос не изменился за весь разговор — ни холодный, ни тёплый, тон человека, профессионально отключившего эмоциональный термостат. Но в этот момент в нём было что-

то чуть иное. Едва уловимое — как разница между кобальтовым синим и берлинской лазурью: одна семья, не один цвет.

— Нет.

— Можете объяснить, почему Каттанео сделал вас наследницей состояния, которое — скажу сразу — весьма значительно?

— Нет.

— Можете сказать, кто такая Е.?

Я снова посмотрела на лист. Двадцать два сообщения. Четыре недели. Суббота, 3 ноября, 16:47.

— Нет. Я ничего о ней не знаю.

— *О ней*, — повторил Вентури, и я сразу поняла, что оговорилась: я предположила пол из контекста сообщений, но подтверждения у меня не было — и он это заметил.

— Судя по тону переписки, — уточнила я.

Он медленно кивнул. Написал что-то. Потом отложил ручку и посмотрел на меня иначе, чем смотрел до этого момента — не как собиратель данных, а как-то более прямо. Более лично.

— Ферретти, — сказал он. — Хочу задать вам вопрос, и прошу подумать перед тем, как отвечать.

Я ждала.

— Вы знали, что Каттанео вам изменяет?

Слово *изменяет* заняло собой весь воздух в комнате. В нём огромный удельный вес — не потому что оно редкое, а потому что когда слышишь его применительно к себе, к

своей жизни, к своей постели, к своим последним четырём неделям, оно вдруг становится конкретным так, как слова обычно не бывают.

— Нет.

— А если бы знали?

Я поняла, куда он клонит. Поняла и то, что это вопрос-ловушка — не в юридическом смысле, а в человеческом. Он хотел посмотреть, разозлюсь ли я, потеряю ли самообладание, скажу ли что-нибудь импульсивное, что можно было бы расценить как улику.

Я подумала, что сделала бы, если бы знала. Подумала по-настоящему, несколько секунд, вместо того чтобы отвечать сразу.

— Собрала бы его вещи, — сказала я наконец. — И выставила бы за дверь с такой точностью, что стало бы страшно.

Вентури не улыбнулся. Но что-то в его глазах — этот серый февраль — неуловимо шевельнулось.

— Убивать я бы его не стала, — добавила я. — Если вы пытаетесь это понять.

— Я ничего не пытаюсь понять, — сказал он. — Я задавал вопрос.

— Вопросы всегда что-то ищут.

На этот раз молчание затянулось. Вентури аккуратно поправил листы на столе — этот его упорядочивающий жест я уже успела распознать как способ выиграть время.

— Можете идти, Ферретти, — сказал он наконец. — Пока.

— *Пока*, — повторила я.

— Это дежурная формулировка.

— Я знаю, что это такое.

Я встала. Взяла сумку. На пороге остановилась — не для драматического эффекта, а потому что действительно хотела кое-что узнать.

— Инспектор.

— Да.

— Вы думаете, что это я его убила?

Вентури ещё мгновение не отрывал взгляда от бумаг. Потом поднял глаза.

— Я думаю, что у вас двойной мотив — наследство и измена — и нет проверяемого алиби. Думаю также, что вы до сих пор не плакали. И думаю, что эти два обстоятельства говорят мне о совершенно разных вещах, и я пока не решил, о чём именно.

Я посмотрела на него.

— Честный ответ, — сказала я.

— Другого я не умею.

Я открыла дверь. За ней — коридор с запахом горелого кофе и типографской краски. За ним — Рим. А за ним — жизнь, которая с утра перестала напоминать всё, что я знала прежде.

А внутри — всё тот же тяжёлый предмет под грудиной.

И вопрос, который продолжал возникать и растворяться, возникать и растворяться, как волна, не способная добраться

до берега:

Если Лоренцо оставил мне всё — значит, он знал, что умрёт?

И если знал — почему не сказал мне?

* * *

Той ночью я не спала.

Не в драматическом смысле — никаких слёз в темноте, никакого неподвижного взгляда в потолок. Просто около двух я проснулась, встала, сварила кофе и села за кухонный стол с телефоном в руке.

Листала нашу с Лоренцо переписку. Обычные сообщения обычной пары — «где ты», «задержусь», «ты купил хлеб», «завтра вернисаж, пойдёшь?». Банальные. Успокоительные в своей банальности — как всегда бывают успокоительны свидетельства обычной жизни, пока не становятся свидетельствами чего-то другого.

Я искала знаки, которые должна была заметить.

Не нашла.

Или нашла везде — зависело от угла зрения, а в этом и была проблема. Измена работает именно так: стоит узнать о ней — и она переписывает всё, что было до. Каждое отсутствие становится подозрительным. За каждой фразой слышится второе дно. Каждая улыбка может что-то скрывать. Ты выстраиваешь обвинение против мёртвого, который не может защититься, и никогда не знаешь — раскрываешь правду или просто сходишь с ума.

В четыре я отложила телефон.

Думала о Вентури. О том, как он сказал: «Думаю также, что вы до сих пор не плакали.» Сказал как факт, не как упрёк. И был прав — я не плакала. Не могла. Не потому что была сильной, а потому что не знала ещё, по кому плакать.

По Лоренцо? По человеку, которого думала, что любила? Или по той версии себя самой — такой уверенной в своих глазах, такой убеждённой, что умеет читать поверхности — которая в то утро перестала существовать?

Кофе остыл в чашке.

За окном Рим начинал просыпаться: грузовик, голуби, далёкие жалюзи. Город, приходящий в движение без чьего-либо разрешения, не ожидающий, пока ты разберёшься со счётами прошедшей ночи.

Я подумала: мне нужно понять.

Не кто его убил. Не сейчас — это работа Вентури, а Вентури, похоже, умеет работать. Но мне нужно было понять, кем был Лоренцо. Настоящий. Тот, что существовал между мазками, на полях, в трещинах, которых я не заметила.

Потому что если я не пойму, кем был он — я не смогу даже начать понимать, кем была я всё это время, любя его.

А это — больше любого обвинения, больше любого допроса, больше наследства, и Е., и двадцати двух сообщений — было тем, чего я не могла вынести.

Глава 3. Похороны, которых не было

Джулия сообщила мне об этом в среду утром — голосом человека, заранее решившего сделать что-то неправильное, но всё равно намеренного это сделать.

— Похороны завтра. Санто-Стефано-аль-Монте-Челио. В одиннадцать.

— Откуда ты знаешь?

— Позвонила в нотариальную контору Виттории Ланца. Представилась твоей помощницей.

Пауза.

— У меня нет помощницы, Джулия.

— Теперь есть. Ты ходила в полицию два дня назад, тебе сообщили, что твой жених умер и оставил тебе всё, не сказав тебе об этом — а его нотариальная контора не удосужилась даже сообщить дату похорон. Кто-то должен делать грязную работу.

Я ещё несколько секунд держала трубку в руке, после того как она замолчала. Джулия Моранди — моя лучшая подруга вот уже семнадцать лет. Мы познакомились на факультете: она училась на сценографа, я — на историка искусства, и обе были убеждены, что умнее всех на курсе. Такая дружба строится на взаимном уважении и изрядной доле соперничества; с годами она превратилась в самые честные отношения в моей жизни.

Честнее, чем с Лоренцо, — это теперь очевидно.

— Спасибо, — сказала я.

— Не благодари. Иди и потом расскажи всё.

* * *

Санто-Стефано-аль-Монте-Челио — одна из древнейших церквей Рима: пятый век, фасад, не обещающий ничего из того, что скрывается внутри, — как почти всё в этом городе. Я пришла на полчаса раньше и остановилась на другой стороне улицы, под пиниями Челио, в тёмном пальто, которое выбирала утром с той же тщательностью, с какой вешаю работы на стены галереи. Не из тщеславия — из инстинкта самосохранения. Когда не знаешь, что чувствуешь, хотя бы можешь контролировать, как выглядишь.

Семья Каттанео прибыла на трёх чёрных машинах.

Большинство из них я не знала. У Лоренцо были сложные отношения с семьёй — по крайней мере, так он говорил. Отец умер молодым, мать — три года назад, брат, с которым отношения были «непростыми». Размытые детали, рассказанные с той небрежностью, которую я теперь распознавала как приём: давать достаточно, чтобы казаться открытым, — и слишком мало, чтобы по-настоящему узнали.

Брата я узнала по остаточному принципу.

Он был единственным, кто не плакал.

* * *

Серджо Каттанео был старше Лоренцо на десять лет, и сходство между ними замечалось лишь тому, кто знал, куда смотреть, — не в чертах, а в том, как они занимали про-

странство. У Лоренцо всегда было это свойство: он заполнял комнату, не делая никаких усилий, заставлял чувствовать себя центром внимания, тогда как в действительности центром всегда был он сам. У Серджо была та же кость, тот же рост — но что-то в нём осталось сдавленным: как растение, выросшее в неправильном свете, которое всё равно тянется вверх, только вкривь, к солнцу, которого нет.

На нём был тёмно-серый пиджак, вытертый на локтях. Человек, у которого когда-то были деньги и который их потерял — или человек, которому деньги никогда не были нужны. Два совершенно разных типа, но оба узнаваемые для того, кто привык изучать, как люди одеваются. На арт-рынке то, как ты себя подаёшь, почти всегда говорит больше, чем то, что ты говоришь.

Он остановился у входа в церковь и посмотрел в сторону пиний.

Посмотрел на меня.

Это был не взгляд человека, узнавшего кого-то. Это был взгляд человека, нашедшего кого-то именно там, где и ожидал найти.

Он не поздоровался. Не сделал никакого жеста. Повернулся и вошёл в церковь.

Я осталась стоять под пиниями — не знаю сколько, — с тем точным ощущением, которое возникает, когда касаешься поверхности, кажущейся устойчивой, а она проседает на миллиметр под пальцами. Недостаточно, чтобы упасть. До-

статочно, чтобы понять: доверять нельзя.

* * *

Внутрь я не вошла.

Не намеренно — вернее, не в результате осознанного решения. Просто пока я смотрела, как дверь церкви закрывается за последним из семьи Каттанео, я поняла, что не имею на это права. Не в юридическом смысле — никто физически не мешал мне переступить порог. Но у горя своя иерархия, даже когда она неофициальна, даже когда несправедлива, — и в то утро моё место в этой иерархии было настолько двусмысленным, что я чувствовала себя чужой.

Я была наследницей. Я была подозреваемой. Я была невестой, не знавшей о любовнице. Я не была вдовой.

Я осталась снаружи.

Простояла под пиниями час двадцать две минуты — посмотрела на часы дважды, сама не знаю зачем: наверное, потому что измерять время — единственная форма контроля, которая остаётся, когда всё остальное ускользает. Рим вокруг жил своей равнодушной жизнью: туристы с картами, мотороллер, затормозивший слишком поздно, мальчик, тащивший рюкзак почти с себя ростом. Ноябрьское солнце стояло низко и резко — из тех, что освещают, не согревая, обнажают тени вместо того, чтобы стирать их.

Я думала о Лоренцо в том гробу.

Пыталась почувствовать что-нибудь прямое, незамутнённое. Боль. Утрату. То, что чувствуешь, когда умирает тот,

кого любишь. Но боль продолжала приходить опосредованно, сквозь слои других эмоций — злость, растерянность, то странное чувство стыда за то, что не увидела. Как смотреть на цвет через цветное стекло: знаешь, что он там есть, но не можешь увидеть его таким, какой он есть.

Может, я заплачу, когда пойму, о чём плачу.

Может, не заплачу никогда.

Обе возможности казались мне одинаково вероятными.

* * *

Они вышли ровно через час двадцать две минуты, как я и рассчитала: заупокойные службы длятся предсказуемо — один из немногих коллективных ритуалов, ещё соблюдающих регламент.

Я видела, как выносят гроб. Смотрела на него так, как смотрят на вещи, которым не могут найти название: я знала, что это такое, знала, что в нём, — но между знанием и ощущением в то утро пролегала дистанция, которую мне было не преодолеть.

Потом я увидела Серджо.

Он отстал от остальных — семья направлялась к машинам, кто-то плакал, кто-то обнимал кого-то, та неизбежная живая картина, которую горе разыгрывает само собой, словно следуя написанному не здесь сценарию. Серджо никакого сценария не разыгрывал. Он отделился от группы с почти оскорбительной естественностью, перешёл улицу и остановился в двух шагах от меня.

Вблизи он был другим. Глаза светлые, как у Лоренцо, — тот же неопределённый серый — но с чем-то добавленным, чего у Лоренцо никогда не было или что он никогда не показывал: усталость, не имеющая отношения к телу. Усталость человека, долго несшего что-то тяжёлое и так и не сбросившего с себя эту ношу.

Он посмотрел на меня.

— Ты Мара, — сказал он. Не вопрос.

— Да.

— Я тебя ждал.

Я не ответила. Когда человек говорит такое в подобный момент — правильного ответа не существует: что бы ты ни сказала, что-нибудь изменится непредсказуемым образом.

Серджо на мгновение опустил взгляд, потом снова поднял. Низкое солнце странно резало его лицо — половина в свете, половина в тени, как на некоторых портретах семнадцатого века, где освещение настолько точно, что кажется приговором.

— Он оставил тебе не просто деньги, — сказал он. — Он оставил тебе всё, что украл у других. Я хотел, чтобы ты знала.

Короткая пауза — не из колебания, а намеренная.

— В том числе то, что украл у меня.

Он повернулся прежде, чем я успела что-то сказать. Перешёл улицу, добрался до машин, сел в последнюю, не оглянувшись.

Я осталась под пиниями Челио — с этими словами в руках, *всё, что украл у других*, — как остаются с предметом, который тебе вложили в ладонь, не объяснив, что это такое: не знаешь — держать, положить или отбросить прочь.

Траурная процессия тронулась.

Лоренцо удалялся от меня в последний раз.

* * *

Джулия ждала меня дома с бутылкой красного вина и лицом человека, заранее знающего, что всё хуже, чем он думал.

Я рассказала всё — похороны, Серджо, его слова. Говорила двадцать минут без остановки, что для меня рекорд, а она слушала не перебивая, что для неё рекорд куда больший. Когда я закончила, она налила вино, подвинула бокал ко мне и сказала:

— Всё, что украл у других. Что именно это значит?

— Не знаю.

— Но ты хочешь узнать.

— Да.

— А полиция?

— Вентури расследует смерть. Не обязательно то, каким образом Лоренцо нажил своё состояние.

Джулия подержала бокал на весу, глядя на меня тем взглядом, который я знаю семнадцать лет: быстрая оценка, взвешивание рисков, расчёт вероятностей. Потом поставила бокал.

— Мара. — Она помолчала. — Я уже знаю, что ты соби-

раешься делать. И хочу, чтобы ты знала: по-моему, это дурацкая затея.

— Знаю.

— Но ты всё равно это сделаешь.

— Скорее всего.

Она снова взяла бокал.

— Тогда хотя бы сначала допей вино.

* * *

Той ночью я впервые за всё это время заплакала.

Не сразу, и не так, как можно было ожидать — без рыданий, как в кино. Скорее что-то медленно поддалось, давление отпускало постепенно, как воздух, тихо выходящий из проколотой шины.

Я плакала в два часа ночи, сидя на краю кровати с фотографией в руках — нашла её в ящике тумбочки. Мы с Лоренцо в Неаполе, два года назад, воскресенье в марте, тот ветер, что гнал облака так быстро, что казалось, будто смотришь на таймлапс. Я смеялась над чем-то, чего уже не помню. Он смотрел на меня.

Долго смотрела на его лицо на этой фотографии.

Пыталась понять, кого вижу: того Лоренцо, которого любила, или того, которого не знала, — или это один и тот же человек, или два разных, которым не повезло делить одно тело.

Ответа я не нашла.

Но всё же заплакала — наконец. Не по нему, или не толь-

ко по нему. По тому воскресенью в марте в Неаполе, по тому ветру, по той версии себя, что смеялась над чем-то забытым, убеждённая, что находится в правильном месте рядом с правильным человеком.

Я плакала по женщине на той фотографии.

Потом высморкалась, убрала снимок и открыла ноутбук.

В строку поиска набрала: *Серджо Каттанео Рим.*

Всё началось.

4

Глава 4. Наследство

У меня всегда были странные отношения с нотариусами.

Не неприязнь — что-то более тонкое, более интересное. Нотариусы существуют для того, чтобы делать постоянным то, что иначе осталось бы временным: договоры, обещания, последние волеизъявления. Они превращают намерения в документы, желания — в юридические обязательства, мёртвых — в живые голоса, которые продолжают говорить с бумажных листов и после того, как настоящий голос умолк. Во всём этом есть что-то глубоко искусственное и одновременно что-то необходимое — как рама картины: она не является произведением, но без неё произведение не знает, где заканчивается.

Я думала об этом, ожидая в приёмной конторы Ланца в пятницу утром, через три дня после похорон.

Вызов пришёл заказным письмом — не сообщение, не звонок, заказное письмо с уведомлением о вручении, как будто Виттория Ланца хотела, чтобы каждый шаг оставлял физический след. Может, профессиональная осторожность. Может, что-то ещё. Я пока не знала, а неопределённость давила с ощутимым весом — несла её уже несколько дней, где-то между лопатками, в том точном месте, где мышечное напряжение становится почти философским.

Приёмная располагалась в историческом центре, виа делла Стеллетта, в здании восемнадцатого века с тёмно-зелёными воротами и травертиновыми лестницами, стёртыми посередине столетиями шагов. Лестницы меня поразили: стёртость была симметричной, одинаковой с обеих сторон — будто поколения людей поднимались и спускались с одним и тем же грузом, распределённым одинаково. Рим полон таких тихих накоплений. Нужно только знать, куда смотреть.

В приёмной стояли два стула обитые бордовым бархатом, столик с журналом шестимесячной давности и тишина особого качества — той, что бывает в местах, куда люди приходят разбирать то, чего не могут разобрать нигде больше. Завещания. Разводы. Купля-продажа квартир, доставшихся от умерших родителей. Тишина незакрытых счётов.

Я прождала одиннадцать минут. Считала.

* * *

Виттория Ланца была женщиной лет пятидесяти восьми, которая, судя по всему, в какой-то момент своей жизни ре-

шила стать нечитаемой.

Не внешне — высокая, хорошо одетая, коротко и аккуратно стриженные седые волосы, очки для чтения спущены на нос скорее как театральный реквизит, нежели оптический инструмент. Нечитаемой — в профессиональном смысле: она выстроила вокруг себя поверхность настолько отполированную, настолько лишённую зацепок, что смотреть на неё было всё равно что пытаться ухватить мокрое стекло. Скользила мимо. Оставляла только твоё собственное отражение.

Я узнала этот приём, потому что сама его использую — в определённых ситуациях. С продавцами, которые хотят понять, сколько ты готова заплатить. С покупателями, которые пытаются выяснить, насколько ты готова уступить. Лицо как стратегия, а не выражение.

Разница была в том, что она пользовалась им всегда — даже сейчас, даже в ситуации, где не было никакой сделки. Или, может, была, и я пока не понимала, какая именно.

— Ферретти, — сказала она, пожимая мне руку с выверенной твёрдостью человека, пожавшего тысячи рук в трудных ситуациях и усвоившего, что правильное давление передаёт компетентность без близости. — Присаживайтесь.

Кабинет оказался таким, каким я его ожидала, — и всё же другим. Порядок был ожидаемым: книги в ряд, папки с подписями, письменный стол, на котором каждый предмет явно имел своё место и находился на нём. Но света я не ожидала:

большое окно во внутренний двор, клён в кадке у стены, ноябрьский свет, просачивавшийся сквозь последние оранжевые листья и рисовавший на полу подвижную сетку теней. Почти красиво. В этом контексте — почти странно.

Я села. Поставила сумку. Сложила руки на коленях — не для того, чтобы выглядеть собранно, а потому что нужно было за что-то держаться.

* * *

Виттория Ланца открыла папку и начала читать тем ровным, точным голосом, каким нотариусы зачитывают юридические документы: голосом, не интерпретирующим, не расставляющим акценты, не выдающим ничего из того, что думает его обладатель. Слова завещания Лоренцо входили в воздух комнаты как физические предметы, один за другим, — я позволяла им падать и старалась собрать все до одного.

Первым объектом была квартира на Париоли — та, где он жил, которую я знала. Три комнаты, окна на две стороны, куплена шесть лет назад. Оценочная стоимость: один миллион двести тысяч евро.

Второй объект — здание в историческом центре, виа деи Коронари, три жилые единицы и коммерческое помещение на первом этаже. Оценочная стоимость: два миллиона четыреста тысяч.

Затем доли в компаниях — три фирмы, две с регистрацией в Риме и одна в Лугано, участие от тридцати до семидесяти процентов, сферы деятельности — от недвижимости

до финансового консалтинга и чего-то, что в документе обозначалось как «управление капиталом и альтернативные инвестиции»: формулировка достаточно размытая, чтобы вместить почти что угодно.

Потом банковские счета. Три, в трёх разных банках. Остатки вслух не зачитывались — был отдельный лист, который Виттория Ланца подтолкнула ко мне точным жестом, как карту в игре.

Я посмотрела на цифры.

Подумала: этого не может быть.

Сразу же подумала следом: это ненормально.

Лоренцо хорошо зарабатывал — я это знала, видела по образу жизни, по квартире, по ресторанам, по поездкам. Но между «хорошо зарабатывать» и «накопить вот это» — пропасть. Не количественная — качественная. Разница между успешной карьерой и чем-то другим, чему у меня в голове пока не было названия, — но что Серджо Каттанео три дня назад под пиниями Челио назвал одним словом.

Украл.

Я положила лист на стол с той осторожностью, с какой кладут хрупкую работу. Потом подняла взгляд на Витторию Ланца.

* * *

Она смотрела в папку. Или делала вид, что смотрит в папку, — это был вопрос, на который я пока не могла ответить.

Я начала изучать её, как изучают работу неизвестного

происхождения. Не черты, не общее выражение — детали. Сначала руки: длинные пальцы, ухоженные, но коротко остриженные ногти, никаких украшений кроме тонкого солитера на левой. Руки человека, который работает, подписывает, держит вещи в порядке. Руки не выдавали ничего.

Потом шея: мышцы слегка напряжены — то напряжение, которое не замечаешь, если смотришь на выражение лица, но видишь, если смотришь ниже, туда, где тело перестаёт играть роль, считая, что на него никто не смотрит. Минимальное. Могла быть обычная осанка женщины, всю жизнь проработавшей над документами. Могло быть что-то другое.

Потом глаза, когда она их подняла: зрачок чуть сузился — слишком незначительно, чтобы это что-то значило, но я сидела напротив окна, свет был у меня за спиной, и свет не изменился.

Что-то, где-то, не сходилось.

Не уверенность — ощущение, которое возникает перед работой, где исполнение технически безупречно, но стилистически неверно. Не можешь указать на конкретное место. Но чувствуешь.

— Есть вопросы? — спросила Виттория Ланца.

С чего начать.

— Когда было составлено завещание?

— Четыре месяца назад.

Четыре месяца назад. Июль. Мы с Лоренцо были в Позитано в июле — неделя, квартира с террасой над морем, из

тех поездок, которые остаются в памяти благодаря свету и утренней тишине до того, как проснётся город. Четыре месяца назад Лоренцо смотрел, как я варю кофе на балконе, — и уже подписал завещание, оставляющее мне всё.

Я подождала, пока эта информация найдёт место, куда улечься. Не нашла.

— Было ли предыдущее завещание?

Короткая пауза. — Да.

— В чью пользу?

— Я не вправе раскрывать содержание предыдущих завещаний.

Ответ был правильным. И именно своей правильностью сообщал кое-что: он существовал, был изменён, и изменение было достаточно недавним, чтобы иметь значение.

Я снова посмотрела на Витторию Ланца.

Она смотрела на меня.

Между нами на столе лежал лист с цифрами — та сумма, которая не укладывалась в голове и продолжала порождать один и тот же вопрос, от которого я не могла отделаться.

— Откуда эти деньги? — сказала я. Не как обвинение — как настоящий вопрос, какие задают, уже убедившись, что ответ не будет простым.

Виттория Ланца закрыла папку сдержанным жестом.

— Лоренцо Каттанео был успешным консультантом с диверсифицированным инвестиционным портфелем, — сказала она. — Его состояние отражает годы работы и взвешен-

ных финансовых решений.

Это был заготовленный ответ. Не в том смысле, что она подготовила его с утра, — а в том, что он выстраивался со временем, оттачивался, становился непроницаемым. Ответ, не содержащий лжи — и не содержащий правды.

— Понимаете, — сказала я медленно, — этого ответа мне недостаточно.

— Понимаю, что вы переживаете очень трудный период.

— Это не эмоциональная реакция. Это практический вопрос. Я наследую состояние, происхождение которого мне неизвестно. У этого есть юридические, налоговые и иные последствия, которые я не могу игнорировать.

Пауза. Виттория Ланца поправила очки — маленький, автоматический жест, из тех, что делают, когда нужна секунда, чтобы что-то решить.

— Рекомендую обратиться к доверенному бухгалтеру, — сказала она наконец. — И, если сочтёте нужным, к адвокату.

— Адвокат у меня есть.

— Хорошо.

— Теперь есть и вы.

Виттория Ланца посмотрела на меня с выражением, которое не было удивлением — скорее чем-то более взвешенным, как узнавание хода в партии, которую считал сольной.

— В каком смысле? — сказала она.

— В том смысле, что вы составили завещание человека, погибшего при невыясненных обстоятельствах, который на-

значил меня наследницей состояния с как минимум непрозрачным происхождением — а полиция рассматривает меня как основного подозреваемого. Вы лучше всех понимаете правовую сторону этой ситуации. В ваших интересах отвечать на мои вопросы.

Это не было угрозой. Это была констатация — но констатации, произнесённые в нужном тоне, нередко весят больше, чем угрозы.

Виттория Ланца несколько секунд не отводила взгляда. Потом опустила глаза на папку.

— Я буду отвечать на вопросы, — сказала она. — В пределах профессиональной тайны.

— Пределы — предмет переговоров, — ответила я.

Я уже выходила из кабинета, когда она меня остановила — не словом, а жестом: открытая ладонь на столе, приподнятая на сантиметр. Жест человека, у которого есть что добавить и который ещё не решил, разумно ли это добавлять.

— Ферретти.

Я обернулась.

— Лоренцо, — сказала она, и в её голосе впервые появилось что-то, чего раньше не было — что-то более матовое, более настоящее. — Он был человеком с большими достоинствами. Но у него была и способность убеждать людей в том, что всё, что он делает, — в интересах всех. — Пауза. — Даже когда это было не так.

Я ждала продолжения.

Продолжения не последовало.

Я открыла дверь и вышла.

* * *

Снова травертиновые лестницы. Симметричная стёртость посередине, поколения шагов, выбившие одну и ту же дорожку. Я спускалась медленно, держась за перила, и думала о словах Виттории Ланца — точнее, о том, чего она не сказала, а это было куда больше.

У него была способность убеждать людей в том, что всё, что он делает, — в интересах всех.

Это было описание. И одновременно — признание: не в преступлении, но в чём-то. В знании, выходящем за рамки отношений нотариус-клиент. В близости, оставившей след.

На улице — виа делла Стеллетта, блестящая брусчатка, туристы с рюкзаками, очередной мотороллер, игнорирующий знак ограниченного движения. Я шла до набережной без определённой цели: одно из преимуществ работы в Трастевере — можно добраться пешком почти до любой точки исторического центра, а ходьба, как я обнаружила в эти дни, единственная форма мышления, которая ещё работает, когда всё остальное заклинивает.

Я думала о цифрах на том листе.

Думала о Лоренцо в Позитано в июле — о том, как он смотрел на море с этим своим особым свойством присутствия: никогда не рассеянный, никогда мысленно в другом месте, всегда целиком здесь, целиком твой. Это было одной

из причин, почему я его любила. Теперь я задавалась вопросом: это был настоящий дар или отточенная техника — способность давать людям почувствовать, что их видят, слышат, что они важны. Способность вызывать доверие.

Способность убеждать людей в том, что всё, что он делает, — в их интересах.

Человек, умерший и оставивший тебе всё, — это человек, который задолжал тебе слишком много объяснений.

Эту фразу я думала уже несколько дней, и каждый раз она возвращалась слегка другой — как работы, которые меняются в зависимости от света: утром кажутся одним, после полудня другим, и никогда не понимаешь, изменилось ли что-то в работе или в тебе самой.

Лоренцо больше не мог ничего объяснить. Он перестал быть доступен для вопросов самым окончательным из возможных способов.

Но ответы были где-то. В документах, которые я унаследовала, в сдержанных словах Виттории Ланца, в светлых усталых глазах Серджо Каттанео. В компаниях, которыми кто-то управляет, в счетах в трёх разных банках, в том здании на виа деи Коронари, о котором я никогда не слышала.

Я остановилась на набережной. Тибр тёк внизу — серый и быстрый, как всегда, равнодушный, как всегда.

Достала телефон и позвонила своему адвокату.

— Фабио, — сказала я, когда он ответил. — Мне нужно, чтобы ты кое-что посмотрел. Не сегодня — прямо сейчас.

Пауза. — Мара, сейчас одиннадцать утра.

— Знаю. У тебя есть час?

Вздох. Фабио Карузо знает меня двенадцать лет — он адвокат галереи, провёл три судебных разбирательства с поставщиками и один спор о подлинности работы, который мог меня уничтожить. Он умеет различать, когда я в режиме «задача для решения», а когда — в режиме «личный кризис». Знает и то, что в моём случае это разграничение часто не имеет значения.

— Где ты?

— Лунготевере деи Валлати.

— Двадцать минут — и я у тебя.

Я убрала телефон.

На реке чайка неподвижно стояла на столбе и смотрела на воду с той сосредоточенной неподвижностью, что бывает у птиц перед броском: всё тело устремлено в одну точку, весь остальной мир — на паузе.

Подумала: вот оно. Именно так. Ты ещё не знаешь, куда нырять, — но уже знаешь, что нырнёшь.

На сейчас этого было достаточно.

5

Глава 5. Елена

У Фабио Карузо было лицо человека, плохо спавшего ночь и не желавшего в этом признаваться.

Он явился на набережную со своей коричневой кожаной папкой, которую носил всегда, — купил её двадцать лет назад и категорически отказывался менять, утверждая, что вещи, выдержавшие испытание временем, единственные, которые стоит иметь. В другой момент я бы нашла это романтичным. В тот день находила просто правдивым, а правда в последнее время перестала быть утешительной.

Документы завещания я передала ему заранее — сфотографировала все в конторе Виттории Ланца перед уходом, с естественностью человека, усвоившего, что важные бумаги нужно копировать всегда, немедленно, прежде чем кто-нибудь решит сделать их недоступными. Фабио прочитал, и по его лицу было видно: он тоже посчитал, и тоже не сошлось.

— Состояние реальное, — сказал он, едва мы устроились на скамейке спиной к Тибру. — В том смысле, что объекты существуют, компании существуют, счета существуют. Это не фикция.

— Но?

— Но темп накопления — ненормальный. Консультант, даже очень хороший, даже с нужными клиентами, за пятнадцать лет карьеры такого не создаёт. — Он указал на лист с цифрами. — Не с такой скоростью.

— Значит.

— Значит, у него либо были источники дохода, не отражённые в переданных тобой документах, либо... — Он остановился.

— Либо переданные мне документы рассказывают не всё.

— Именно.

Мы помолчали, глядя на реку. Мимо медленно скользил туристический катер — на борту горстка людей с поднятыми телефонами, снимающих берега. Я подумала, что они видят: тот же Рим, что и я, — или совершенно другой, облегчённый тем, что в нём не надо жить.

— Что ты собираешься делать? — спросил Фабио.

— Хочу понять, откуда деньги.

— Это работа полиции.

— Полиция ищет, кто убил. Не обязательно — почему. А мне нужно знать почему.

Фабио посмотрел на меня с тем выражением, которое появлялось, когда он оценивал, стоит ли спорить, — оценка обычно занимала три секунды и заканчивалась вздохом.

Вздох не заставил себя ждать.

— Тебе нужен судебный бухгалтер, — сказал он. — У меня есть имя. И мне нужно, чтобы официально я не знал, что ты делаешь.

— Официально я ничего не делаю. Просто пытаюсь разобраться, что именно унаследовала.

— Тонкое разграничение.

— Единственное, которое у нас есть.

Он встал, взял папку, застегнул пальто с той методичностью чуть старомодного толка, что не изменялась в нём двенадцать лет. Потом остановился.

— Мара. — Голос стал другим — не адвокат, а Фабио, знавший меня ещё до того, как у меня появилась галерея, когда я была просто девчонкой с дипломом магистра и одной идеей. — Ты в порядке?

Я подумала о правильном ответе. Потом подумала, что с Фабио правильные ответы бесполезны.

— Нет, — сказала я. — Но работаю.

Он кивнул, как будто этого было достаточно. Может, и правда было.

* * *

Небольшое масло на дереве, двадцать на тридцать сантиметров, без подписи — вернее, с монограммой, которую я две недели расшифровывала, когда приобрела её год назад у флорентийского антиквара.

Озёрный пейзаж, вероятно ломбардский, вероятно конца девятнадцатого века. Большой экономической ценности работа не представляла — несколько тысяч евро, не более. Но с первого взгляда в ней было что-то, что меня зацепило: свет был неправильным в правильном смысле. Художник написал закат, похожий на рассвет, или рассвет, похожий на закат, — и эта двусмысленность, этот отказ быть окончательным, делали его странно тревожащим, странно живым.

Лоренцо увидел её в галерее полгода назад и сказал, что хочет купить. Для себя, сказал он. В коридор квартиры — места там мало, но этот неопределённый свет хорошо сыграет на белой стене.

Я продала ему по себестоимости, как часто делала с вещами, которые любила: форма щедрости, корни которой теперь казались мне сложнее, чем я думала. Дело было не только в великодушии: мне нужно было, чтобы вещи, которые я люблю, находились рядом с людьми, которые их понимают. Способ выстраивать преемственность, может быть. Создавать невидимые нити между вещами и людьми.

Проблема была в том, что картина так и не появилась в коридоре квартиры Лоренцо.

За три года я входила и выходила из той квартиры не счесть сколько раз — знала каждый угол, каждый предмет, то, как свет менялся в разное время суток. В коридоре справа от двери висела офорт Пиранези — и больше ничего. Моей картины там не было никогда.

В последующие месяцы я решила, что просто не обратила внимания, — в совместной жизни накапливаются мелкие отвлечения, не всё замечаешь. Но в то утро, открывая галерею после встречи с Фабио, мысль пришла с той точностью, какая бывает у вещей, ждавших лишь нужного момента, чтобы всплыть: куда делась картина?

Я нашла квитанцию о покупке в архиве галереи. Лоренцо платил наличными — в своё время это показалось мне немного необычным, но недостаточно, чтобы это комментировать. При покупке он оставил контактные данные: не свой номер телефона, не адрес на Париоли. Адрес на виа Джулиа.

Адрес, которого я не знала.

Я поискала на картах. Оказался профессиональный кабинет — небольшая, сдержанная вывеска: *Маркетти и партнёры, налоговое и имущественное консультирование.*

Я убрала ключи от галереи обратно в сумку.

Взяла пальто.

* * *

Виа Джулиа — одна из красивейших улиц Рима и одна из наименее туристических, а значит, здесь живут только те, кто выбрал это намеренно. Дворец семнадцатого века за дворцом, разбросанная брусчатка, высохшие глицинии, летом укрывающие целые ворота. Я прошла улицу из конца в конец, не найдя того, что искала, потом перечитала адрес и поняла: внутренний номер, безликие ворота между двумя домами покрупнее.

За ними оказался один из тех римских двориков, существующих только для тех, кто знает об их существовании: висячий сад на втором этаже, едва видимый с улицы, лимонное дерево в кадке и железный стул под ним. Контора — на третьем этаже. Я нажала кнопку звонка и стала ждать.

Молодой голос из домофона: — Кто там?

— Мне нужно поговорить с кем-нибудь из конторы. Речь идёт о Лоренцо Каттанео.

Тишина. Потом щелчок замка.

* * *

Елене Маркетти было двадцать девять лет, и лицо у неё было лицом человека, не спавшего нормально уже неделю.

Я поняла это прежде, чем она открыла рот: по тому, как она держала тело — чуть сжавшись к центру, как будто стараясь занимать меньше места, чем обычно. Глаза светлые, серо-зелёные, с той слегка припухшей тяжестью, какую оставляет плач, высохший лишь несколько часов назад. Волосы кое-как убраны — из тех причёсок, что делают, когда просто нужно убрать волосы с лица и нет никакого желания стараться, — и слишком большой свитер: серый, бесформенный, из тех вещей, которые надевают, когда нужно, чтобы что-то стояло щитом между тобой и миром.

Она посмотрела на меня взглядом, который я узнала, потому что видела его в зеркале в последние дни: настороженность человека, ожидающего удара и не знающего, с какой стороны он придёт.

— Вы Мара Ферретти, — сказала она. Не вопрос.

— Да. — Я помолчала. — А вы — Е.

Что-то в её лице сжалось — не удивление, а болезненное узнавание чего-то, о чём она уже знала и на что надеялась, может быть, ещё немного не смотреть.

— Входите, — сказала она.

* * *

Кабинет был небольшим и опрятным, с тем качеством рабочих пространств, где люди проводят больше времени, чем дома: растение на подоконнике, кружка с маркерами, фотография, прикреплённая к доске — с другого конца комнаты не разглядеть. Елена села за стол, я — на единственный дру-

гой стул, тот, что предназначался, по всей видимости, для клиентов, и мы провели несколько секунд, глядя друг на друга в тишине, специфической для двух людей, не знающих, как начать.

Начала я — потому что пришла я.

— Я пришла не обвинять вас, — сказала я. — Не за этим.

— Зачем же?

— Потому что нашла адрес. И потому что мне нужно понять то, что Лоренцо уже не может мне объяснить.

Елена посмотрела на свои руки. Ногти коротко острижены, без лака — руки человека, работающего с цифрами и мало думающего об эстетике. Или руки человека, которому в последние недели было не до этого.

— Вы знали обо мне, — сказала она. Не вопрос.

— Узнала от полиции. Пять дней назад.

Она подняла взгляд. — Пять дней назад.

— Вместе с известием о его смерти и тем, что он оставил мне всё своё имущество. — Я держала голос ровным — не из холодности, а потому что иначе не смогла бы оставаться в этой комнате. — Три вещи сразу, в один день, в один час.

Елена закрыла глаза на секунду. Когда открыла, в ней что-то изменилось: не настороженность больше — что-то более усталое, более открытое.

— Я думала, что он один, — сказала она. Голос тихий, почти плоский — таким говорят, когда произносят что-то болезненное, но уже миновав стадию острой боли в костях. Те-

перь это была хроническая боль — я начинала разбираться в разновидностях. — Он сказал мне с самого начала: один. Что были отношения, но давно закончились. Что работа мешает быть с кем-то.

Работа мешает быть с кем-то.

Лоренцо говорил это и мне — поначалу. Первая версия той же истории, адаптированная к слушателю. Мне он добавил, что перестал кого-то искать, пока не встретил меня. Я сочла это романтичным. Теперь я понимала, что это был приём: представиться человеком, который не искал, — чтобы другая чувствовала себя избранной, особенной, исключением из правила.

Мы помолчали — Елена и я — с Лоренцо между нами как громоздкий предмет, который ни та ни другая не знала, куда деть.

— Сколько времени? — спросила я.

— Год и восемь месяцев.

Год и восемь месяцев. Пока мы с Лоренцо были вместе три года, он выстроил параллельно вторую историю такой же плотности — не мимолётное увлечение, не что-то случайное. История с продолжительностью, с женщиной, которая в неё верила, с будущим, которое он, по всей видимости, давал ей разглядеть.

— Он говорил вам о совместном будущем?

Елена помедлила — не потому что не знала, а потому что знала и решала, сколько сказать.

— Да, — произнесла она наконец. — Говорил, что заканчивает кое-какие дела. Что потом у него будет больше времени, больше стабильности. Что, может, пришла пора думать о чём-то другом.

Заканчивает кое-какие дела.

Я подумала о завещании, подписанном четыре месяца назад. О цифрах на листке Виттории Ланца. О словах Серджо под пиниями Челио.

Подумала: Лоренцо что-то собирался сделать. Не знаю что. Но собирался.

И кто-то остановил его раньше.

* * *

— Картина, — сказала я в какой-то момент, когда тишина между нами стала чуть менее враждебной. — Небольшой озёрный пейзаж. Лоренцо купил её в моей галерее.

Елена молча встала и подошла к доске. Теперь я увидела, что там висело: не фотография, как я думала. Открытка — из тех, что печатают с цифровых снимков: маленькое, слегка зернистое воспроизведение, но узнаваемое. Моя картина. Озёрный пейзаж с двусмысленным светом.

— Он подарил мне её, — сказала она. — Говорил, что это место напоминает ему об одном местечке в Ломбардии, где он бывал в детстве.

Я смотрела на открытку, прикреплённую к доске незнакомой мне женщины — в кабинете на виа Джулиа, через пять дней после того, как узнала, что человек, которого я любила,

умер и мне изменял.

Смотрела на маленькое воспроизведение картины, которую выбрала я, которую полюбила я, которую продала Лоренцо, потому что нуждалась в том, чтобы вещи, которые я люблю, находились рядом с людьми, способными их понять.

И почувствовала, как что-то поддаётся — не драматично, без звука. Тихо, как когда в работе обнаруживается тонкая трещина, пересекающая весь холст насквозь: невидимая, пока не знаешь, куда смотреть, — и потом невозможная не видеть.

Я заплакала.

Не из-за Лоренцо — не напрямую. Из-за картины и того, что она означала: из-за моей упрямой, наивной убеждённости, что между вещами, которые любишь, и людьми, с которыми их разделяешь, есть преемственность. Что разделить что-то красивое — значит разделить что-то настоящее. Что Лоренцо взял эту картину, потому что понял её, потому что увидел в ней то же, что видела я.

Вместо этого он взял её и принёс сюда, в этот кабинет, этой женщине — и, может быть, это тоже было рассчитано, может быть, и выбор подарка был откалиброван ради нужного эффекта. Я не знала. И никогда не узнаю.

Елена ничего не говорила. Не встала, чтобы утешить, не сделала автоматического жеста — руку на плечо. Она осталась сидеть и ждала, и в этом молчании было больше уважения, чем в любых словах.

Когда я перестала, достала из сумки бумажный платок — не тканевый, обычный — и высморкалась с остаточным достоинством женщины, плачущей редко и не намеренной превращать это в привычку.

— Простите, — сказала я.

— Нет, — сказала Елена. Просто, прямо. — Не надо извиняться.

Я посмотрела на неё.

— Я тоже плакала, — сказала она. — Несколько дней. И сама не понимала точно из-за чего — из-за него, или из-за себя, или из-за той версии себя, которая в это верила. — Пауза. — Думаю, вы меня понимаете.

— Да, — сказала я. — Понимаю.

Мы смотрели друг на друга — две женщины в маленьком кабинете на виа Джулиа, с мёртвым мужчиной между нами и картиной тридцатилетней давности, прикреплённой к доске. И в тот момент я почувствовала странное, неожиданное ощущение: я не одна. Не потому что Елена была на моей стороне — ещё нет, не в том смысле. Но потому что она понимала. Потому что видела то же самое с другого угла, и это делало нас — если не союзницами, то по меньшей мере свидетелями друг для друга.

— Мне нужно разобраться в том, чем занимался Лоренцо, — сказала я наконец. — Не смерть — жизнь. Деньги, компании, то, как он выстроил то, что имел. Вы работаете в налоговой конторе.

Елена медленно скрестила руки. Не защитный жест — задумчивость.

— Кое-что я знаю, — сказала она. — Не всё. Но кое-что — да.

— Вы готовы мне рассказать?

Она долго смотрела на открытку на доске.

— Да, — сказала она. — Но не сегодня. Сегодня я не смогу.

— Понимаю.

— Завтра. — Она взяла визитку из стакана с ручками — автоматический, профессиональный жест, из тех, что делаешь тысячу раз, не думая, — и протянула мне. — Позвоните с утра.

Я взяла визитку. Посмотрела на имя, напечатанное сдержанным шрифтом: *Елена Маркетти, дипломированный бухгалтер.* Ниже — номер телефона и адрес электронной почты.

Я встала. Перекинула сумку через плечо. В дверях обернулась — не знаю зачем, наверное, потому что эта комната что-то изменила и я хотела унести с собой её образ.

Елена осталась сидеть за столом, руки на коленях, взгляд снова на открытке.

— Маркетти, — сказала я.

Она подняла глаза.

— Это была не ваша вина. То, что вы сделали: поверили ему. Это была не ваша вина.

Она выдержала мой взгляд секунду.

— Знаю, — сказала она. — Но пройдёт время, прежде чем я по-настоящему в это поверю.

Я кивнула. Я знала в точности, о чём она говорит.

* * *

На улице — виа Джулиа с её косым ноябрьским светом, брусчатка, высохшие глицинии и туристы, идущие с запрокинутыми головами вдоль дворцов.

Я шла к галерее медленно, с визиткой Елены Маркетти в кармане и чем-то новым в голове — ещё не информацией, не пока. Формой. Как когда в сильно повреждённой работе начинает проступать подготовительный рисунок: тот угольный след, что художник наносил до краски и что краска скрывала столетиями. Ещё не читаемый, ещё не ясный — но там. Неоспоримо там.

Лоренцо что-то выстраивал. Что-то большое, сложное, достаточно опасное, чтобы стоить ему жизни.

И я собиралась начать разбирать это по кусочку.

Не ради него — это важно, я сказала себе это, сворачивая в сторону Трастевере, ясно и без романтики. Не чтобы понять его, не чтобы простить, не чтобы найти способ продолжать любить память человека, лгавшего мне три года.

Ради себя.

Ради той женщины на неаполитанской фотографии, которая заслуживала знать, в какую историю попала.

Ради картины на доске в кабинете на виа Джулиа, путеше-

ствовавшей от меня к Лоренцо и от Лоренцо к Елене — и ни один из троих так и не узнал истории целиком.

Ради всего, что понимаешь только тогда, когда наконец решаешь перестать от этого отворачиваться.

6

Глава 6. Решение

Вентури позвонил в четверг утром — на восьмой день после того, как всё началось.

Восемь дней. Я заметила это, только когда открыла календарь в телефоне — проверить встречу: вернисаж, назначенный три недели назад в одной галерее в Прати, который теперь казался принадлежащим чьей-то другой жизни. Восемь дней с тех пор, как полиция сообщила мне о смерти Лоренцо. Восемь дней, в которые время перестало течь привычным образом — не ровная цепочка часов, а что-то более прерывистое: одни мгновения тянулись неделями, другие исчезали, так и не успев стать прожитыми.

Он сказал только: — Мне нужно вас увидеть. Сегодня утром, если возможно.

Не объяснил зачем. Я не спросила. За восемь дней, через один прямой разговор и два коротких звонка, я усвоила: вопросы, на которые Вентури не отвечал, были не теми, на которые он не мог ответить. Это были вопросы, на которые он не хотел отвечать по телефону. Разница существенная.

— Приходите в галерею, — сказала я. — Через час.

Совсем короткая пауза — разведка местности, подумала

я. Если он придёт ко мне, а не вызовет в управление, расстановка сил меняется. Я это понимала. Он тоже.

— Хорошо, — сказал он.

* * *

Тот час я провела так, как всегда провожу время, когда нужно думать ясно: работала.

Не с документами о Лоренцо, не с материалами о Серджо Каттанео, накопленными за последние дни в файле на компьютере — я назвала его невинно «Архив поставщиков 2023». Я работала в галерее: переставила две работы в главном зале, ответила на три письма клиентов, ждавших ответа несколько дней, поправила освещение у одной вещи, которая казалась мне неправильной уже несколько недель — и теперь, сдвинув её на двадцать сантиметров влево, она вдруг нашла своё место.

Есть кое-что, чего люди не понимают в работе с искусством: она никогда не бывает только эстетической. Каждое решение — куда поставить работу, при каком свете, на какой высоте, рядом с чем — это решение о том, как смысл распределяется в пространстве. Вопрос контекста, отношений, того, чем вещь становится, оказавшись рядом с одной другой вещью, а не с иной. Одна и та же картина в двух разных залах — это, в самом реальном и не только метафорическом смысле, две разные картины.

Лоренцо это знал. Это было одной из причин, почему он часто приходил в галерею поначалу: у него было это искрен-

нее любопытство — или казавшееся искренним — к тому, как я читаю пространство. Задавал вопросы. Слушал ответы. Это был тот тип внимания, который даёт ощущение, что тебя видят, — я уже говорила об этом, и снова об этом думаю, и каждый раз задаюсь вопросом: было ли внимание настоящим или тоже приёмом.

Вероятно, никогда не узнаю.

В этом и состоит самое изнурительное в посмертном предательстве: вопросы остаются открытыми навсегда, без возможности закрыть их, без возможности посмотреть кому-то в глаза и потребовать правды. Лоренцо унёс с собой все ответы самым окончательным из возможных способов, и мне предстояло научиться жить с пустотами. Или искать ответы в другом месте.

Я сдвинула работу на двадцать сантиметров влево и подумала: вот оно. Контекст. Отношения. Чем вещь становится, когда её приближаешь к чему-то другому.

Может быть, в этом и состоит расследование. Не искать ответы там, где Лоренцо их спрятал, а переставлять вещи до тех пор, пока смыслы не проступят сами.

* * *

Вентури явился точно в срок — я уже успела понять, что это черта характера, а не профессиональная привычка. На нём было то же тёмно-синее пальто, что и при первой встрече — или такое же, я не могла определить, — и вид у него был как у человека, который спал, но недостаточно.

Я сварила кофе в подсобке, где держу плитку, moku и больше ничего, — потому что важные разговоры не должны происходить стоя у витрины. Вентури ждал и смотрел на галерею: не как посетитель, а с тем профессиональным качеством внимания, которое применял ко мне с самого начала. Читал пространство. Фиксировал.

— Вы сами решаете, где что висит? — спросил он, когда я вернулась с кофе.

— Всегда.

— Как вы решаете, куда что ставить?

Я обдумала вопрос. Это была не светская беседа — Вентури не разговаривал ради разговора. Либо искреннее любопытство, либо подготовка к чему-то, чего я пока не видела.

— Это зависит от того, что должно говорить друг с другом, — сказала я. — Работы. Одним нужно расстояние, другим — близость. Одни объясняют себя через контраст, другие — через созвучие.

Вентури держал чашку в руке и смотрел на две работы, которые я переставила утром: чёрно-белую фотографию и яркое масло семидесятых годов — они, казалось, не имели ничего общего, и всё же в новой расстановке отвечали друг другу с точностью.

— Контраст, который обнажает, — сказал он.

— Именно.

Он выпил кофе. Поставил чашку на прилавок с той аккуратной обстоятельностью, которую я научилась в нём распо-

знавать. Потом достал из внутреннего кармана пальто лист — сложенный вчетверо, из тех, что носят в кармане, когда хотят, чтобы не выглядело официальным, хотя является таковым, — и положил на прилавок между нами.

— Прокуратура приняла решение не ходатайствовать о мере пресечения, — сказал он. — На данный момент.

Я смотрела на лист, не касаясь его.

— *На данный момент*, — повторила я.

— Прямых улик нет. Алиби слабое — были одна дома, без свидетелей — но именно такое алиби у девяноста процентов людей, которые не планируют преступление и потому не заботятся о том, чтобы обеспечить себе прикрытие. Мотив на бумаге есть — наследство и измена — но наличие мотива не является преступлением. — Пауза. — Пока.

— Что значит «пока»?

— Значит, расследование открыто. Значит, если появятся новые обстоятельства, ситуация может измениться. Значит, — и голос принял ту ровную, точную интонацию, которую он использовал, когда хотел, чтобы слова дошли без смягчения, — вы по-прежнему остаётесь человеком с профилем, наиболее совместимым с составом преступления.

Я выдержала его взгляд.

— Вы говорите мне это как предупреждение или как информацию?

— Как то и другое одновременно.

Я оценила честность. Вслух не сказала бы этого — не в

тот момент, не ему, — но оценила. У Вентури было редкое свойство: он не притворялся, что на твоей стороне, когда это было не так, — но и не притворялся, что против тебя, когда и этого тоже не было. Он держался посередине с устойчивостью, которую я находила одновременно успокоительной и глубоко раздражающей.

— Это всё? — спросила я.

Он чуть помедлил — долю секунды, такую, которую не замечаешь, если не знаешь, где смотреть.

— Нет, — сказал он. — У Каттанео были сложные деловые связи. Мы это уже знаем и смотрим в том направлении. Но расследование финансовых преступлений требует времени — месяцев, иногда лет. Тогда как убийство требует более быстрого ответа. — Пауза. — У вас есть доступ к документам, к информации, к людям, которых мы не можем достичь обычными инструментами. Это факт, не обвинение.

Я поняла, куда он ведёт, прежде чем он дошёл.

— Вы собираетесь меня о чём-то попросить.

— Нет. — Твёрдо, немедленно. — Я говорю вам, как обстоят дела. То, что вы делаете с этой информацией, — ваш выбор.

— Но если я что-то сделаю.

— Если вы что-то сделаете, что вмешается в ход активного уголовного расследования, вы окажетесь в положении значительно более сложном, чем нынешнее. — Он взял лист с прилавка, сложил вчетверо с прежней точностью. — Это

предупреждение.

— А информация?

Он посмотрел на меня теми светлыми глазами, которые я научилась не недооценивать: не холодными, не тёплыми — точного цвета чего-то, что вот-вот изменится.

— Информация в том, что иногда, — сказал он, — расследования находят ответы там, где меньше всего их ждут.

Убрал лист в карман. Встал. Снял пальто со спинки стула тем же методичным жестом, что и всегда — в то утро и во все предыдущие.

— Всего доброго, Ферретти.

— Вентури.

Он обернулся на пороге.

— Будьте осторожны, — сказал он. Не угрожающе. Почти — мне понадобилось несколько часов, чтобы найти нужное слово — *с беспокойством.*

Я подержала эту мысль в руках, потом убрала куда-то на дно сознания — туда, куда кладут вещи, не зная ещё, как ими воспользоваться.

* * *

После его ухода я осталась в пустой галерее — сколько времени, не считала.

За окном Трастевере жил своими четверговыми утренними звуками: перезвон, скрежет тележки поставщика по брусчатке, голоса на диалекте из какого-то открытого окна несмотря на холод. Звуки моей обычной жизни, которая про-

должалась вокруг меня, как ни в чём не бывало, — будто миру не было никакого дела до того, что внутри этой галереи на тридцать квадратных метров происходит нечто достаточно большое, чтобы переопределить всё.

Я смотрела на две работы, переставленные утром: чёрно-белую фотографию и яркое масло. Контраст, который обнажает. Я переставила их из эстетических соображений — или, по крайней мере, так себе говорила, — но теперь задавалась вопросом: не было ли в этом жесте ещё чего-то? Не было ли само по себе перемещение вещей, изменение их отношения друг к другу ради того, чтобы посмотреть, что проступит, — уже формой мышления о том, что я собираюсь делать?

Вентури сказал: расследование открыто. Сказал: вы по-прежнему остаётесь человеком с наиболее совместимым профилем. Сказал между строк каждого слова: ждать опасно.

Сказал, этой своей последней фразой, слишком точно построенной, чтобы быть случайной: расследования находят ответы там, где меньше всего их ждут.

Это не было приглашением. Это было что-то более тонкое — то, что точный и честный человек говорит, когда хочет, чтобы ты сделала то, о чём он не может тебя попросить, и хочет также, чтобы ты знала, что он знает, и хочет также, чтобы ты знала: если сделаешь это плохо, он, возможно, не сможет тебя защитить.

Я вспомнила слова Джулии в вечер после похорон — с бокалом вина в руке: *Я уже знаю, что ты собираешься делать. И хочу, чтобы ты знала: по-моему, это дурацкая затея.*

Вспомнила Елену в её кабинете на виа Джулиа: *Кое-что я знаю. Не всё. Но кое-что — да.*

Вспомнила Серджо под пиниями Челио: *Он оставил тебе всё, что украл у других.*

Вспомнила Фабио на набережной: *Тебе нужен судебный бухгалтер.*

Вспомнила Витторию Ланца с её отполированными глазами и фразой, удержанной почти до конца: *У него была способность убеждать людей в том, что всё, что он делает, — в интересах всех. Даже когда это было не так.*

Подумала о Лоренцо.

Подумала: *кем ты был.*

И следом — мысль, которая формировалась несколько дней и теперь обрела достаточную чёткость, чтобы её нельзя было игнорировать: *кем ты был* — это тот же вопрос, что и *кто тебя убил.* Они неотделимы. Нельзя ответить на один, не ответив на другой. Кто бы это ни сделал — он сделал это из-за чего-то, связанного с тем, кем был Лоренцо: с деньгами, со схемами, с людьми, которых он использовал, обманул, а потом, может быть, использовал снова.

Найти убийцу значило найти Лоренцо.

Найти Лоренцо значило, в процессе, найти и себя саму —

ту женщину, прожившую три года рядом с ним, ничего не видя, которой нужно было знать: она была слепа сама — или её намеренно держали в темноте. Это разграничение было важным. Не для суда — для неё.

* * *

Я взяла телефон и открыла файл «Архив поставщиков 2023», синхронизированный с компьютером, чтобы всегда был под рукой.

Внутри — три дня поисков: Серджо Каттанео, компании Лоренцо, имена из документов завещания, ветки специализированных форумов по корпоративному праву, которые я читала ночами, почти ничего не понимая, но сохраняла всё равно — потому что в расследовании сохраняешь всё, даже непонятное, и возвращаешься к этому, когда накопится больше контекста.

Я открыла новую папку. Назвала её «Работа» — просто, безлико, из тех названий, что ни о чём не говорят постороннему взгляду.

Открыла новый документ.

Написала в заголовке: *Лоренцо Каттанео. Что я знаю. Чего не знаю. Что нужно найти.*

И начала писать.

Того, что я знала, было мало и много одновременно: мало достоверных фактов, много впечатлений, аномалий, деталей, не сходившихся. Непропорциональное состояние. Компании с регистрацией в стратегически удобных местах. За-

вещание, подписанное четыре месяца назад в тишине Позитано. Слова Серджо. Сдержанность Виттории Ланца. Картина на доске у Елены.

Того, чего я не знала, было почти всё остальное.

То, что нужно было найти, сводилось пока к одному: точке отсчёта. Не началу истории — у историй никогда нет точного начала, они растут, как растения: из корней, которых часто не видно. Но первый видимый узел. Первое место, где можно взяться за нить и потянуть.

Елена — завтра.

Фабио — с его судебным бухгалтером.

Серджо Каттанео — ждущий меня, ещё не зная об этом.

И Вентури, сказавший *будьте осторожны* голосом человека, надеющегося не повторять этого дважды.

Я смотрела на документ на мониторе. Слова стояли там, упорядоченные в своей неполноте, — как список покупок для путешествия, направление которого ещё неизвестно.

Я вспомнила, что всегда говорю себе, берясь за работу неизвестного происхождения — из тех, что могут оказаться подлинными или мастерски выполненными подделками, и не узнаешь этого, пока не заглянешь достаточно глубоко, чтобы найти что-то, что не умеет лгать: *картина всегда знает правду. Твоя задача — задавать правильные вопросы в правильном месте.*

Лоренцо знал правду. Унёс её с собой.

Но правда всегда оставляет следы: в людях, с которыми

встречались, в деньгах, переходивших из рук в руки, в историях, которые рассказывались, и в тех, которые нельзя было рассказать. Лоренцо прожил целую жизнь, выстроенную на слоях лжи, а слои всегда оставляют осадок. В документах, в чужой памяти, в трещинах между тем, что говорят, и тем, что делают.

Десять лет я тренировала свои глаза находить трещины.

Пора было ими воспользоваться.

* * *

Вечером я позвонила Джулии.

— Я решила, — сказала я.

Короткая пауза. — Знаю.

— Ты не спросишь?

— Не нужно спрашивать. Я знаю тебя семнадцать лет, Мара. Когда у тебя такой голос — я уже всё поняла.

— Какой голос?

— Тот, который у тебя бывает, когда ты только что переставила картину и поняла, где ей место. Вот такой голос.

Я держала телефон в руке и смотрела на две работы на стене: фотографию, масло. Контраст, который обнажает.

— Это хороший голос? — спросила я.

Вздох. А потом — и в её голосе было что-то, что не сводилось к тревоге, там между строк читалось и что-то другое: гордость.

— Это твой лучший голос. Он же меня больше всего пугает.

Я засмеялась. Первый настоящий смех за восемь дней — не громкий, не из тех, что заполняют комнату, но подлинный, непридуманный, выходящий из места, которое, как мне казалось, ещё оставалось на замке.

— И ты тоже будь осторожна, — сказала Джулия. — По-своему.

— По-своему, — сказала я. — Как всегда.

Я положила трубку.

Снова открыла документ на компьютере.

Удалила заголовок — *Лоренцо Каттанео. Что я знаю. Чего не знаю. Что нужно найти* — и заменила одной строкой: точнее, честнее.

Кем ты был, Лоренцо. И кто помог тебе таким стать.

Начала сначала.

7

Глава 7. Внутри документов

Ноутбук Лоренцо лежал во втором ящике прикроватной тумбочки с его стороны — правой, той, что у окна, той, которая за три года совместных ночей приобрела топографию, знакомую не хуже моей собственной половины.

Полиция изъяла его MacBook из квартиры на Париоли — рабочий, видимый, тот, на котором он делал то, что делают люди, зная, что за ними могут наблюдать. Но этот был другим. ThinkPad пятилетней давности, чёрный, с потрёпанным

стикером на крышке: логотип финансовой конференции в Женеве в 2019 году, из тех сувениров, которые приклеивают не думая и потом забывают. Лоренцо пользовался им редко — в моём присутствии: иногда в воскресенье утром, с кофе на тумбочке, говорил, что надо только быстро разобраться с одной вещью. Я никогда не смотрела, с какой.

Я подумала об этом ночью, перед тем как ехать к Елене: проснулась в три с мыслью — точной, уже готовой, из тех, что сон обрабатывает и выдаёт тебе в завершённом виде. Ноутбук. У Лоренцо было два ноутбука, и полиция забрала только один.

Я взяла его тем же утром, перед открытием галереи, — с ключами от квартиры на Париоли, которые всё ещё лежали в сумке, потому что я так и не нашла нужного момента, чтобы оставить их где-нибудь окончательно. Открыла дверь, вошла в квартиру, где ещё слабо пахло им — это застало меня врасплох, то, как места удерживают людей куда дольше, чем ожидаешь, — взяла ноутбук с тумбочки, закрыла дверь, вышла.

Это не было кражей. Технически это было моим — в том смысле, что теперь всё было моим, что по-прежнему казалось мне неправильным каждый раз, когда я об этом думала. Как унаследовать то, чем никогда не хотела владеть.

* * *

Елена пришла в галерею в пятницу утром, в четверть десятого — опоздала на четверть часа, и это опоздание бы-

ло не беспечностью, а нерешительностью: человек, принявший трудное решение и на пороге задержавшийся на секунду лишней, сомневаясь, стоит ли.

Стоило. Я поняла это по тому, как она была одета: не вчерашний бесформенный свитер — что-то более собранное, более намеренное. Серый жакет, аккуратно убранные волосы. Она подготовилась. Пришла работать.

Я открыла ей дверь и не стала задавать вопросов. Поставила кофе, разложила на столе в подсобке уже отобранные документы: бумаги завещания, частичные выписки со счетов, которые Фабио прислал утром через своего судебного бухгалтера, выписки из реестра юридических лиц по двум компаниям Лоренцо — заказала их накануне вечером онлайн за двадцать два евро, смешная сумма в сравнении с тем, что они могли открыть.

ThinkPad я положила в центр стола.

Елена села, посмотрела на ноутбук, потом на меня.

— Его?

— Был его. Тот, который не изъяли.

Она медленно кивнула — не в знак согласия, а в знак обработки: укладывала информацию в более широкую картину, я понимала, решала, что это значит и что из этого следует. Вот что я разглядела в ней ещё при первой встрече: она думала прежде, чем говорить — в нынешнее время это стало почти редкостью.

— Вы знаете пароль? — спросила она.

— Нет. Но Лоренцо всегда использовал вариации одной схемы — я выяснила случайно, много лет назад, увидев, как он набирает. Слово, цифра, специальный символ. У меня есть три-четыре комбинации, которые могут сработать.

Елена чуть приподняла бровь на миллиметр — не удивление, что-то сложнее: узнавание чего-то, о чём она не хотела знать.

— Он мне тоже говорил, что использует случайные и разные пароли для всего, — сказала она. Голос ровный, информативный. Но под ним — тот слой, который я уже научилась слышать, когда она говорила о Лоренцо: тонкий осадок всего, что теперь нужно было перечитывать заново.

— Мне тоже, — сказала я.

Мы посмотрели друг на друга. Добавлять было нечего.

* * *

Сработала вторая комбинация.

Когда открылся рабочий стол, у меня сжалось что-то в желудке — не облегчение, не удовлетворение. Что-то более двусмысленное, более телесное: как в момент, когда открываешь дверь, которая, как ты знал, была заперта, и оказываешься в пространстве, к которому ещё не готов.

Рабочий стол был почти пустым. Нейтральный тёмно-серый фон, никаких иконок, кроме трёх папок и корзины. Лоренцо поддерживал порядок и в своих цифровых пространствах — или, что более вероятно, важное было не на поверхности. Оно было глубже.

Я открыла первую папку. Она называлась «Разное» — из тех названий, которые ничего не говорят и отбивают охоту у того, кто смотрит без конкретной цели. Внутри — PDF-файлы, десятки, с бессмысленными на первый взгляд буквенно-цифровыми именами: RT_2021_04_C, GF_immob_rev3, LC_holding_struttura. Никаких читаемых заголовков. Никаких видимых дат в именах.

— Можно? — спросила Елена.

Я повернула к ней ноутбук.

Смотрела, как она работает. В том, как люди взаимодействуют с компьютером в процессе размышления — или когда перестают думать о том, что за ними наблюдают, — есть кое-что очень показательное. У Елены был другой темп: более технический, более уверенный. Она открывала файлы быстрой последовательностью, пробегала взглядом за несколько секунд, закрывала или оставляла открытыми — в соответствии с какой-то внутренней оценкой, которую я пока не успевала отслеживать.

— Это договоры, — сказала она через несколько минут. — Или что-то их напоминающее. Часть пунктов стандартная, часть — нет. — Она указала на экран. — Видите вот это?

Я придвинулась. Открытый документ был плотно набит юридически-финансовым языком — из тех, что пишут для непосвящённых намеренно непонятными: не чтобы скрыть что-то конкретное, а потому что туман самого языка уже сам

по себе форма защиты. Но Елена указывала на конкретный пункт посередине страницы, и когда я его прочла, то тоже поняла, что не сходится.

— Переход права собственности до подписания договора купли-продажи, — сказала я.

— До подписания и без независимой оценки, — подтвердила Елена. — Покупатель принимает стоимость, заявленную продавцом. Само по себе это не незаконно в ряде частных сделок. Но если заявленная стоимость завышена...

— Покупатель платит больше, чем стоит объект.

— А продавец кладёт в карман разницу. — Она закрыла файл. — Сколько таких договоров в этой папке?

Мы вместе просмотрели список. Я посчитала.

— Семнадцать.

Тишина, последовавшая за этим, имела особую плотность — тишина двух людей, увидевших одно и то же и обрабатывающих последствия, каждая по-своему, каждая неся особый вес своих отношений с человеком, создавшим эти файлы.

* * *

Мы работали четыре часа.

В перерывах я дважды варила кофе — во второй раз Елена сделала это сама, не спросив, уже зная, где мока и как работает плитка. На мгновение во мне что-то шевельнулось — странное ощущение — и я отпустила его. Странные ощущения в то время стали нормой. Научиться отпускать их было

навыком выживания.

То, что мы выстраивали — медленно, — было картой. Ещё не полной: данных не хватало, мы ещё не говорили ни с одним из людей, чьи имена встречались в договорах, ещё не понимали, как компании связаны между собой и с объектами недвижимости. Но общий контур проступал — как подготовительный рисунок под краской — и контур был таков: Лоренцо выстроил систему.

Не простую схему, не единичную аферу. Систему — такую структуру, которую строят годами, с терпением, с осознанием того, что каждый элемент должен выдерживать вес остальных. Компании, покупающие друг у друга объекты по завышенным ценам. Оценки, подписанные сговорчивыми экспертами. Деньги, входящие в одной форме и выходящие в другой через достаточно запутанные ходы, чтобы нить было трудно проследить.

— Сколько человек знало? — спросила я в какой-то момент, не ожидая точного ответа — скорее думая вслух, пытаясь сориентироваться в чём-то большем, чем удавалось охватить взглядом.

Елена ещё несколько секунд не отрывала взгляда от экрана. Потом сказала: — Минимум три-четыре, иначе не работает. Оценщики, кто-то из регистрационных органов, может, сговорчивый нотариус или адвокат. — Пауза. — Такие структуры в одиночку не держатся.

Я подумала о Виттории Ланца и её отполированной по-

верхности.

Подумала: *сколько ты знала.*

Вслух не сказала. Пока.

* * *

Имя всплыло ближе к вечеру, когда мы открывали вторую папку ноутбука — ту, что называлась «GF» и которую сначала пропустили, посчитав, что там только таблицы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.